

АНДРЕЙ БЪЛЫЙ

(ВОСПОМИНАНІЯ, ВСТРЪЧИ).

Царицыно — дачное мѣсто под Москвой. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк, вродѣ лѣса: очень красиво. Сила зелени, произрастанія, свѣжесть и влага. В Москвѣ многіе любили Царицыно. Были там и собственныя дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помѣщенія из года в год у мѣстных жителей, становились как бы лѣтними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню, — говорит одна такая бывшая дачница.

— Я была дѣвочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около Дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был бѣленькій мальчик, лѣт двѣнадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже — очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду — так и представляется мнѣ, с удочкой, на берегу. Мать у него была видная, красивая, гувернантка за ним присматривала. Потом, много позже, я встрѣтилась с ним в Москвѣ, он стал студентом и, оказывается, пишет “Симфоніи”, “Золото в Лазури”... Боря Бугаев и есть Андрей Бѣлый!

Отец “Бори Бугаева” был математик, профессор Московскаго университета, крашенный старик, видимо, чудачище первостепенный — молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встрѣчать. Мать Бѣлаго я немного знал: блестящая женщина, совсѣм иного міра, и иных устремленій. Так что Андрей Бѣлый явился порожденіем противоположностей.

На Московском Арбатѣ вижу его уже студентом, в ту-
журкѣ и фуражкѣ с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились — не просто голу-
бые, а лазурно - эмалевые, “небеснаго” цвѣта, с густѣйши-
ми великолѣпными рѣсницами, как опахала отгѣняли онѣ
их. Худенькій, тонкій, с большим лбом и вылетающим впе-
ред подбородком, всегда немного голову закидывая назад,
по Арбату он тоже, будто, не ходил, а “летал”. Подлинно
“Котик Летаев”, в ореолѣ нѣжных, свѣтлых кудрей. Котик
выхоленной, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном
факультетѣ, печатался в “Скорпионѣ” и “Вѣсах”, под нача-
лом Валерія Брюсова. Считалось, что он “необыкновен-
ный” какой-то, — поэт, мистик с отгѣнком пророчественно-
сти и “декадент”. И не просто декадент, а всѣм обликом
своим являет нѣчто особенное — не предвѣстие - ли новой
религии? Видѣли в нем и общее с князем Мышкиным из
“Идиота”. Передавали, что в университетѣ вышел с ним
случай схожій: на студенческом собраніи, в раздраженіи
спора, кто-то ударил его по щекѣ. Он подставил другую
щеку.

Раннія его произведенія появлялись довольно быстро
одно за другим, сразу привлекли вниманіе (молодежи в
особенности). “Золото в Лазури” (стихи), “Сѣверная сим-
фонія”, “Драматическая симфонія”. Лазурь бугасских
глаз в первой книгѣ сияла почти ослѣпительно — явно, он
острѣй и духовнѣй ощущал свѣт, чѣм кто - либо. Симфо-
ніи показались необычайными и по формѣ — полулитера-
турныя, полумузыкальныя.. Лѣс, кентавры, беклиновское
в “Сѣверной”. В “Драматической” синіе глаза московской
красавицы, Владимір Соловьев, розоватыя зори, Евангеліе
от Іоанна, все это неслоь в туманно - музыкальном вихрѣ.

В то время и он и Блок только еще выходили из под
плаща Соловьева — в “Симфоніи” Соловьев с бородой
своей и в крылаткѣ, развѣвающейся фантастически, “ше-

ствовал" над Москвой в зорях, обѣщавших и Бѣлому, и Блоку нѣкія откровенія, "раскрытія".

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языкѣ "прелестью". Но как бы об этом ни судить, что бы ни говорить о поэзіи Блока и Бѣлаго, юношескій облик "Бори Бугаева" оттиснут в памяти печатью романтическую — прозрачныя, чистыя краски в нем. И начало пѣвуче - летящее.

.....

В публикѣ Бѣлаго сразу опредѣлили чудачком — всѣ газеты обошло двустистише из "Золота в Лазури":

“Завопил низким басом,
В небеса запустил ананасом”.

Молодежи литературной как раз это и нравилось. Нравилось и снобам.

Бѣлый читал стихи хорошо, в тогдашней манерѣ, но с оттѣнком своеобразія большого, как и во всем был своеобразен. Читенію помогал движеніями тѣла. Но как!

Литературно - Художественный Кружок в Москвѣ, богатый клуб тогдашній, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровкѣ отлично был приспособлен — зрительный зал на шестьсот мѣст, библіотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан, залы игорныя...

На одном таком вечерѣ выступает Бѣлый, уже безызвѣстный молодой писатель.

Из-за кулис видна рѣзкая горизонталь рампы, свѣт в глаза. За ней, как ржаное поле с колосьями, зрители, в легком туманѣ. А по нашу сторону худошавый человек в черном сюртукѣ с начинающейся лысинкой и пушистым руном вокруг головы — Андрей Бѣлый. Он читает стихи, разыгрывает нѣчто и руками, отпрядывает назад всѣм корпусом, налетает на рампу — помогает себѣ читать как хочет — читает - поет, заливается.

И вот стало замѣтно, что на ржаной нивѣ непорядок.

Будто поднялся вѣтерок, колосья клонятся вправо, влѣво, долетают странные звуки...

Бѣлый как бы и не чувствовал ничего. Чтеніе опьяняло его, дурманило. Во всяком случаѣ, он двигался по восходящей воодушевленія. Наконец, почти пропѣл пріятным тенором:

“И открою я полотер-р-рное за-ве-де-н-н-іе...”

В ожиданіи - же открытія плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты, — и присѣл основательно.

Это было совѣм неплохо сыграно, могло и нравиться, но нива ощущала иначе. Там произошло нѣчто внѣ программы — будто налетѣл вихрь и колосья заметались, волнами стали клониться чуть не до полу. Надо сознаться: дамы помирали со смѣху. Смѣх этот, сдерживаемо - неусдержимый, веселым дождем долетѣл и до нас, за кулисы.

... “И смѣх толпы холодной”... — но дамскій этот смѣх в Кружкѣ даже не смѣж врагов, и толпа не “холодная”, а скорѣе благодушно - веселая. “Ну что-же, он декадент, ему так и полагается выкручиваться”.

Все-таки... — какая-бы ни была, насмѣшка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздраженія, уязвленности скопилось в том, кого одно время по недоразумѣнію считали “князем Мышкиным”.

.....

Главным хозяином декадентов и символистов в Москвѣ был Валерій Брюсов. Считалось, что он “маг”, “пророк”, вождь. Правда, так писали обычно сотрудники “Вѣсов”, гдѣ он начальствовал. Эллис сравнивал его и с Данте.

“Но послѣдній Царь Вселенной,
Сумрак! Сумрак! — за меня!”

Сумрак в Брюсовѣ и дѣйствительно был, что-же касается Данте...

Но на меньшее чѣм Данте Брюсов вряд - ли согласил-

ся-бы. (Чехов говорил: “меня забудут через семь лѣтъ”, — и его имя ходит теперь по всему міру. Брюсов утверждал, что стихи его прозвучат на многих языках — они уже забыты и по-русски).

Высокій, худощавый, черный, с широкими скулами (когда сидѣл спиной, скулы выступали из за очерка головы), с глазами нѣсколько косо поставленными, голосом как-бы лающим, Брюсов соединял в себѣ твердость и высокоомѣрие, недоброту и практической ум, черты поэта и эрудита с чѣм-то глубоко плебейским. Отец его торговал пробками. Весь Брюсов, со всѣм своим символизмом вполне отдавал лабазом, Цвѣтным бульваром, гдѣ был его дом, Трубной площадью и Соболевыми переулками. Нѣкое внутреннее безвкусіе сидѣло в нем неискоренимо. Был он и дѣловитѣйшій из всѣх видѣнных мною писателей. Мог - бы служить в министерствѣ торговли и промышленности, состоять в комиссіи по борьбѣ с оврагами, завѣдывать таможей; при большевиках, к которым примкнул первым, послѣ сотрудничества у черносотенцев, возглавлял литературный отдѣл — Лито. В мирные годы Москвы, как директор Литературнаго Кружка, входил во всѣ мелочи хозяйства, денег, провѣрял счета поваров и т. п. В нашем кругу его называли “декадентскій полицмейстер”.

В “Вѣсах” Брюсов забрал Бѣлаго в руки крѣпко и не выпускал годы. Считалось, что Бѣлый “боец за символизм”, и сам он искренно думал так, дѣйствительно свое отстаивал. За его-же спиной стоял Брюсов. Что Бѣлый трудился, главным образом, на Брюсова, было ясно всегда. Теперь, послѣ выхода его воспоминаній, это им самим и подтверждено. Брюсов прямо задавал “уроки”: осадить того-то, отвѣтить тому-то, написать то-то о себѣ. Бѣлаго легко было разбудоражить, зарядить электрическим зарядом, довести до изступленія. В одном таком положеніи пришлось столкнуться с ним довольно близко.

В 1906 - 7 г. г. группа молодежи литературной издавала в Москвѣ журнальчик “Зори”, а затѣм еженедѣльную

газету "Литер. - Художественная Недѣля". Об'єдняли участников родственныя черты — нѣкое "русское" (лѣвое) настроеніе, тяготѣніе к мистицизму и христіанству, в литературѣ и искусствѣ модернизм, умѣренного оттѣнка и не Брюсовскаго толка. Из петербургских извѣстных молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкій. Из московских — Бѣлый.

Все это предпріятіе оказалось недолговѣчным, вліянія имѣло мало и во многом было наивно. Все-же слѣд в собственных наших сердцах остался... — искреннее увлеченіе юных лѣт.

Бѣлый дал нам статью о Леонидѣ Андреевѣ. Чуть-ли не в том-же номерѣ появился какой-то недружественный отзыв о Брюсовѣ.

Брюсов, конечно, раз'ярился. Андрей Бѣлый, — отраженно, — также. Встрѣтив гдѣ-то П. П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отдѣлу искусства, набросился на него изступленно, поносил и его и нас в выраженіях полупечатных. Муратов, внѣ себя, прибѣжал ко мнѣ.

Он всѣх нас позорит, оскорбляет...

А одновременно появилась и статья Бѣлаго в "Вѣсах" против нас, по которой видно было, в каком он запалѣ.

Нетрудно себѣ представить что — при нервности и обидчивости молодых литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, рѣшили отправить Бѣлому нисьмо - ультиматум.

Написал его я, в тонѣ рѣзком — надо сознаться: совершенно вызывающем. Бѣлаго приглашали об'ясниться. Говорилось и так, что если он не возьмет назад оскорбительных выраженій, то "мы прекращаем с ним всякія, как личныя, так и литературныя отношенія". Назначалось свиданіе в опредѣленный час в редакціи, на квартирѣ В. И. Стражева.

Труднѣе всѣх приходилось тут мнѣ. Я был ближе других к Бѣлому лично. Он просто мнѣ нравился — изяществом, своеобразіем, даже полоуміем своим. Я считал его и

большим поэтом, в спорах страстно всегда защищал. Он со мной тоже был чрезвычайно привѣтлив и ласков. И вдруг — именно он... Если-бы не Бѣлый, было-бы легче, можно бы не обращать вниманія. Но он! За нехвalebный отзыв о Брюсовѣ! Нѣтъ, и горестно, но и спустить невозможно.

В назначенное время собрались в кабинетъ Стражева: кромѣ хозяина, Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранскій, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Бѣлый — в пальто, в руках шляпа, очень блѣдный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всѣх острым взглядом (глаза бѣгают довольно быстро).

— Гдѣ я? Среди литераторов, или в полицейском участкѣ?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили. Первая фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свиданіе это, что “переговоры протекали в атмосферѣ сердечности и взаимнаго пониманія”.

— В таком тонѣ мы разговаривать не намѣрены. Или возьмите назад оскорбленія, или-же мы расходимся.

Сраженіе началось. Бѣлый в тот день был весьма живописен и многорѣчив — он кипѣлъ, и клубился весь, вращался, отпрядывал, на блѣдном лицѣ глаза в оттѣненіи рѣсниц тоже метались, видимо он “разил” нас “молніями” взоров. Видимо, сам был глубоко уязвлен тоном письма.

— Почему со мной не переговорили? Я-же сотрудник! Я честный литератор! Я человѣкъ... Вы не мое начальство. Я мог об’ясниться, это недоразумѣніе. А меня чуть не на дуэль вызывают...

Я стоял на своем упрямо.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварицѣ и о нас...

Он кричал, что это возмутительно, я уперся и не подавался ни на шаг. Наконец, Бѣлый вылетѣлъ в прихожую, я

вслѣд за ним. Тут, вдвоём, у окна, мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную “кисти Айвазовскаго”.

Мы пожимали друг другу руки и увѣряли, что “лично”, попрежнему друг друга “любим”, в литературной - же плоскости “разошлись” и не можем встрѣчаться, но, конечно, “в глубинѣ души ничто не измѣнилось” и пр. У обоих на глазах при этом слезы.

Комедія развернулась по всѣм правилам. Мы разстались “друго-врагами” и долго не встрѣчались, как будто даже раззнакомились. (Издали кажется все это смѣшным, а тогда переживалось всерьез).

И уже много позже, в свѣтлой, теплой залѣ Эрмитажа петербургскаго, около Луки Кранаха случайно столкнулись — нос с носом. Прежнія глупости растаяли. Бѣлый засіял своей очаровательной улыбкой, чуть миѣ в объятія не кинулся. В тот момент зимняго сѣвернаго дня так, вѣроят-но, и чувствовал. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбучем пескѣ легко что-нибудь строить. Нынче мог Бѣлому человекъ казаться пріятным, завтра врагом. Весь он был клубок чувств, нервов, фантазій, пристрастій, вѣчно подверженный магнитным бурям, всевозможнѣй-шим токам, и разныя радіо-волны на разное его направля-ли. Спротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, “пунктики”, которые иногда его преслѣдо-вали.

Одно время такой пункт был у него “издатели”. Все зло от издателей. Они заключили тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником, затѣм, оказал-ся Георгій Чулков. Бѣлому он представлялся мистическим персонажем, как таинственная птица пронесившимся над Россіей, воплощавшим в себѣ... — не помню уж точно что, но весьма не-украшавшее.

Не знаю, была-ли у него настоящая манія преслѣдова-нія, но вблизи нея он находился. Том воспомина-ній подтверждает и это — ему мерещились враги и там, гдѣ были люди к нему расположенные.

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремль церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-рѣки и стѣны, в осѣненіи дерев — к ней и до-браться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встрѣчали мы в ней с Андреем Бѣлым. Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремль, иллюминація — Иван Великій высвѣчивает золотым бисером — гудят “сорок сороков” торже-ственным, веселым гулом.

Бѣлый был очень мил, даже почти трогателен, — мы христосовались, побродили в толпѣ, а потом отправились к общему нашему пріятелю, С. А. Соколову (“Грифу”) разговляться.

Легко можно себѣ представить, что такое розговѣны в Москвѣ довоенной, даже не в Замоскворѣчьѣ, а в домѣ литературно - интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цвѣтныя яйца, возліянія — все в размѣрах внушительных, в том духѣ веселаго безпорядка, мирной сытости, что во-обще стало уж легендой.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом всѣ мы и размѣстились. христосовались, смѣялись, ѣли, пили. В серединѣ, напро-тив меня, сидѣл Бѣлый, за ним гладкая стѣна.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, кули-чи... Но в какой-то момент настроеніе измѣнилось. Бѣла-го стал задирать Александр Койранскій — критик, худож-ник, остро слов, — всегда он его не весьма чтил, а тут и ви-но помогло. Бѣлый начал волноваться, по русскому обык-новенію с пустяков разговор скакнул к серьезному. Смысл бытія, назначеніе поэта, дѣло его... — Койранскій подзу-живал, разговор обострялся.

И вот Бѣлый впал в изступленіе.

Сидя ему трудно было уже говорить. Он вскочил, начал нѣкую рѣчь - исповѣдь.

“Золотому блеску вѣрил,
“А умер от солнечных стрѣл,
“Думой вѣка измѣрил,
“А жизнь прожить не сумѣл”...

Послѣдняя строчка стихотворенія этого (ему принадлежащаго) и была, собственно, главным звуком импровизации. Тут уже и хозяева, и Койранскій, и всѣ мы умолкли. Правду сказать: Бѣлый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал незадачливость, горечь, одиночество жизни своей. Непониманіе, его окружавшее, смѣх сопровождающій.

“Не смѣйтесь над мертвым поэтом.

“Снесите ему вѣнок.

“На крестѣ и зимой, и лѣтом

“Мой фарфоровый бьется вѣнок”.

.....
“Пожалѣйте, придите;

“Навстрѣчу вѣнком метнусь,

“О, любите меня, полюбите, —

“Я, быть может, не умер, быть может, проснусь,

“Вернусь...”.

В импровизации было то же рыдательное, что и в лучших его стихах --- будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что страннѣе всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человѣку чувствовать себя в потокѣ мировой любви, единенія братскаго... Андрей же Бѣлый как раз тосковал в одиночествѣ. Пустой вихрь жизни, раны болят... — но пустыньность вообще была ему свойственна. Кого, или что он сам-то любил? Это вопрос. И вот груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фонѣ стѣны, правда, как над-

гробный вѣнок в вѣтрѣ. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стѣнѣ спиною, совсѣм поблѣднѣл, воскликнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь.... Всѣ радуются, а я распят...

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранскій и не так был доволен, что распалил Бѣлаго.

.....

Большая публика не принимала его, но друзья и восторженные поклонники у него были. Нѣсколько позже примкнул он к антропософскому движенію — приобрѣл и там вѣрных почитателей и почитательниц.

В тѣ, предвоенные годы вышли книги его стихов “Пепел” и “Урна”, — быть может, лучшее, что им написано. Нѣкоторые звуки стихотвореній этих и теперь пронзают, и будут пронзать. Дал и романы: “Серебряный голубь” (дѣтская и лубочная вещь), “Петербург” — безвоздушная фантазмагорія. Много кипѣл, выступал, писал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрѣло извѣстность, но довольно странную. И во всяком случаѣ, боевую.

Вот небольшой образец этой “боевой” его дѣятельности.

Андрей Бѣлый читает в Литературно-Художественном Кружкѣ. Начинаются пренія, выступает, среди других, беллетрист Тищенко, тѣм извѣстный, что Лев Толстой объявил его лучшим русским современным писателем. Этот Тищенко был человѣкъ довольно невидный, невзрачный, настроенный невоинственно, -- как вышло, что он разволновал Бѣлаго, не знаю. Но спор на эстрадѣ, перед сотнями слушателей так обернулся, что Бѣлый взвился и “возопил”:

— Я оскорблю вас дѣйствіем!

К нам, засѣдавшим в ресторанѣ Кружка, извѣстіе это дошло вродѣ того, как в деревнѣ передают, что загорѣлась рига. Бросились тушить. Но было уж довольно поздно. Из-за кулис во-время задержали занавѣс, отдѣлив пу-

блику (Бѣлым возмущенную) от эстрады. Зала кипѣла и бурлила. “Скандал”, “безобразіе”, “дуэль”....

На большой лѣстницѣ картина: сверху спускается Андрей Бѣлый, в кучкѣ друзей. Кругом шум, гам. Бѣлый в полу-обморочном состояніи, опирается на сосѣдей, едва передвигает ноги, поник весь, на подобіе Пьерро. Его внизу одѣли и увезли. Завтра дуэль....

Разумѣется, поздно вернулись мы в ту ночь домой из Кружка. Но условились с С. Соколовым рано утром быть у Бѣлаго — секунданты не секунданты, а вродѣ того.

Часов в девять явились к нему в Денежный. Бѣлый был в это утро совсѣм бѣлый, почти в истерикѣ, не раздѣвался, не ложился, сю ночь бѣгал по кабинету.

Высокая, великолѣпная его мать спокойнѣе нас и “Бори” отнеслась к происшествію. И оказалась права. Излившись перед нами, как слѣдует, Бѣлый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нѣтъ, это личина, маска... Я не хотѣл его оскорблять. Тищенко даже симпатичный... но сквозь его черты мнѣ просвѣчивает другое, вы понимаете... сила хаоса, темная сила, вы понимаете — (Бѣлый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клопочет горлом, издает звук вродѣ: м-м-м... --- будто вот онѣ, вокруг, эти силы)... Враги воспользовались безобидным Тищенко... он безобидный. Карманный человѣчек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный... Тищенко хорошій....

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Бѣлый кинулся бы его цѣловать, плакал бы на его груди --- что не помѣшало бы через час его возненавидѣть и объявить носителем мірового зла.

Во всяком же случаѣ, Бѣлый по нашему настоянію написал письмо - извиненіе, которое Соколов и передал куда надо: до свинца дѣло не дошло. А о скандалѣ... поговорили и забыли.

.....

В самые страшные годы Россіи Бѣлый мнѣ вспоминается болѣе мирно.

Когда с Осоргиным и Бердяевым торговали мы в Книжной Лавкѣ писателей, на Никитской, Бѣлый к нам заворачивал иногда. Он выпустил даже в нашей серіи свою рукописную книжечку (за отсутствіем типографій мы писали кое-что от руки, сами мастерили обложки и продавали любителям в Лавкѣ — довольно дорого). Бѣлый ни с кѣм тут не ссорился. Увлекался антропософіей, в Петербургѣ выступал в “Вольфилѣ”, а в Москвѣ жил одно время во “Дворцѣ искусств”.

Этот “дворец” — дом гр. Соллогуба на Поварской у Кудринской площади. Старый дом прославлен “Войною и Миром”. Там, гдѣ Наташа Ростова носилась рѣзвыми своими ножками, поселился рыжебородый поэт Рукавишников — Луначарскій избрал его главою дворца.

Во “дворцѣ” читались какія-то лекціи, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Тогда Бѣлый позвал меня к себѣ в гости.

Он всегда был, с ранних лѣтъ, лѣваго устремленія. Что-то в революціи ему давно нравилось. Он ее ждал, и когда она пришла, очень многое в ней принял. В тѣ годы (20 - 21), ближе всего был к лѣвым эсерам, разным “Скифам” (как и Блок). Бѣлый не так страдал от революціи, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософія вводила его в сторону. Духовныя начала движенія этого уж очень мало подходили к уровню “революціонной мысли”.

Не без волненія шел я, в сумерки зимняго дня, по старым, благородным залам, комнатам, корридорам, закоулкам соллогубовскаго дома. Он построен “покоем”, с боковыми крыльями, обнимающими большой двор (подводы с добром Ростовых, бѣгуших от Наполеона.... Раненый князь Андрей. Великая слава Россіи).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из за-

лы можно было выйти на балкон под колоннами, — а там дальше опять плакаты и расписанія лекцій.

Бѣлый встрѣтил меня очень привѣтливо, гдѣ-то вдали, в своей комнатѣ, выходящей в сад. Он был в ермолочкѣ, с полусѣдыми из-под нея “клочковатостями” волос, такой же изящный, танцующій, присѣдающій.

Комната в книгах, рукописях. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классѣ.

...Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософію, на революцію. Может быть, с “убийцей Мирбаха” он говорил бы и иначе, но со мною стал почти на мою позицію — тут помогала ему и его антропософія.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки... — Мир, циклы исторіи послушно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно — во всяком случаѣ, это было рѣдкостно, менѣ всего заурядно, почти увлекательно. (Бѣлый вообще был отличный оратор, но не владѣл постройкою рѣчи).

Разумѣется, понял я четверть, может быть, треть — самое большее... Астролог же и эуритмик вытанцовывал убѣдительно — и надо сказать: не было в нем здѣсь, в Соллогубовском домѣ, обычной нервозности. Скорѣе фантастика успокаивающая. Снѣг сизѣл в саду, скоро спустится московская зимняя ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Глаза Андрея Бѣлаго сіяют, он откидывается назад, смотрит каким-то соколом, в горлѣ у него радостное клокотаніе м-м-м... На слушателя это хорошо дѣйствует.

Наконец, вычертил еще какую-то кривую, тоже вродѣ спирали — с торжеством хлопнул куском мѣла по доскѣ — профессор Горнаго Института Долбня, показывающій ряды Абея.

— Видите? Нижняя точка спирали? Это — мы с вами сейчас. Это нынѣшній момент революціи. Ниже не опу-

стимся. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор....

Спираль долго еще выносила Россію на простор — море дѣтских и юношеских гробов еще предстояло пережить, сотни тысяч загубленных жизней, — но мы с Бѣлым в тот вечер искренно думали, что вот кончается уже Голгофа: навѣрно потому, что хотѣли вѣрить. Спираль только украшала желаніе.

Во всяком случаѣ, Бѣлый был хорош и живописен в своей лабораторіи, правильно или невѣрно исчислял он сроки.

.....
В 1921 году отъезд Бѣлаго за-границу, прощальный вечер у нас в Союзѣ писателей на Тверском бульварѣ в Домѣ Герцена. Парадокс ранней полосы революціи: правительство дало нам особняк, мы там устроились довольно основательно, а в Уставѣ нашем сказано, что коммунисты членами Союза быть не могут. И, дѣйствительно, ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном словѣ Бѣлому можно было еще сказать:

— Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграціи, что литература в Россіи жива... и никогда, никому... ни за что не уступит своей свободы.

Бѣлый сидѣл за столом напротив меня — в залѣ стало мертвенно-тихо, в прекрасных его глазах что-то пролетѣло, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказала... А потом он вскочил.

— Да, скажу, скажу....

В ту минуту он навѣрно так и думал. Но нѣтъ сомнѣнія, что, сѣвъ в вагон, все мгновенно и позабыл.

...Через год встрѣтились мы уже в Берлинѣ, для нас в "новой жизни", для него это был эпизод, ибо скоро он возвратился в Россію.

Его заграничная жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Бѣлаго про-

шло именно с ф р о е, берлински - будничное, от колбасников и пивнушек, гдѣ стал он завсегдатаем. Лысина разрослась, руно волос по вискам посѣдѣло и порѣдѣло, к концу он нѣсколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвѣли — да и выраженіе стало иное. Он походил теперь на выпивающаго, незадачливаго и непризнаннаго — не то изобрѣтателя, не то профессора без кафедры. Характер сдѣлался еще труднѣй. Раньше он восторгался антропософіей и в ней находил опору. Теперь на нее возстал. Одно время сам строил в Дорнахѣ антропософскій храм, Гетеанум, а теперь на Рудольфа Штейнера накидывался с яростью.

— Я его разоблачу! Я его выведу на свѣжую воду!

И вот из Берлина, являвшагося ему мучительной пустотой, рѣшил он опять бѣжать в Россію. Его пустили. Дама, в дѣтствѣ знавшая Бѣлаго по Царицыну, сказала ему:

— Помни только, Борис: будешь в Москвѣ, не вѣшай на эмиграцію всѣх собак! Держи себя тихо, прилично.

Он помахивал лысо-сѣдою головой, бормотал:

— Да, да! Я не буду вѣшать собак! Я уважаю берлинских друзей. Я буду держать себя корректно.

Бѣлый уѣхал в Россію в плохом видѣ, в настроеніи тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграціи, о "берлинских друзьях" — кажется, все, что полагается. В воспоминаніях же своих, вышедших там, распыл и время молодости своей, и тогдашних людей, и пріятелей, и знакомых, и Россію тѣх лѣт. Но в Россіи революціонной не преуспѣл также, — видимо, оказался для нея слишком диковинным и монструозным:

"Золотому блеску вѣрил,
"А умер от солнечных стрѣл,
"Думой вѣка измѣрил,
"А жизнь прожить не сумѣл".

Измѣрил-ли онъ вѣка, я не знаю. Жизнь прожил бурно, путано, незадачливо и горестно — несомнѣнно. Дошли извѣстія, что в Крыму, в Коктебелѣ, онъ очень много жарился на солнцѣ, послѣ чего и заболѣлъ смертельно. Если это вѣрно, то замѣчательное стихотвореніе надо считать и пророческим.

Бор. Зайцев